

Илона Якимова
Любовь к литературе

Художественная проза о поэзии



Илона Якимова

**Любовь к литературе.
Художественная проза о поэзии**

«Издательские решения»

Якимова И.

Любовь к литературе. Художественная проза о поэзии /
И. Якимова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-503023-8

Сборник статей о любви к литературе — третья книга Илоны Якимовой.
Разговоры о поэзии как способ понять поэта и мир, существующий в
пространстве и времени его текстов.

ISBN 978-5-00-503023-8

© Якимова И.
© Издательские решения

Содержание

«...И чуть поодаль – я». Ирония одиночки	6
Смуглый мастер подобий: текстосновидения Ербола Жумагулова	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Любовь к литературе Художественная проза о поэзии

Илона Якимова

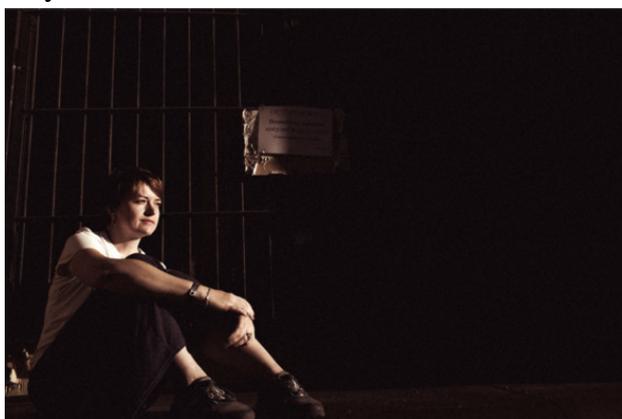
Фотограф Нина Архипова

© Илона Якимова, 2019

© Нина Архипова, фотографии, 2019

ISBN 978-5-0050-3023-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Во времена оны, когда деревья были больше, слова слаще, а мои друзья моложе, я, переживая счастье соприкосновения с их творчеством, написала несколько статей, не столько критических, сколько о том, как мне кажется уместным поэзию чувствовать, если не понимать. Так сложилась эта книга – не для широкого круга лиц, она в большей степени имеет значение для тех, кто в ней упомянут. В сущности, это записи в альбом на память о нашей юности и дружбе, сейчас ценные как повод встретиться, друзья мои, обязательно встретиться – однажды, пятнадцать лет спустя.

*Илона Якимова
15 августа 2019 г.*

«...И чуть поодаль – я». Ирония одиночки

Писать о близких по духу людях сложно – все равно, что о себе. Те же судорожные попытки сбалансировать меж чрезмерной скромностью и неприкрытым самовосхвалением, та же степень болевой чувствительности на отклик – по живому. Особенно, когда под перо, претендующее на критическую объективность, по воле обстоятельств попадают «мои друзья по школе и мечу». Но я попробую.

Первая книга Дмитрия Коломенского очевидно запоздала к читателю. Можно было б так явно, спокойно самоидентифицироваться и раньше; и дело даже не в материальных сторонах вопроса, скорей – в ментальных. Видимо, шло время, и копилась уверенность в собственных силах, в соответствии занимаемому месту, по мере роста количества и качества разнообразнейших коллективных изданий, каждое следующее из которых оставляло все более стойкое, щемящее ощущение недодачи, преждевременно оборванного мотива. Коломенского становилось мало читателю, а самому Коломенскому – тесно в общих балаганчиках совместительства. Надлежало выбирать. До первой книги пишущий человек находится в уютном положении внештатника – «захочу – разлюблю»; первая книга автора если и не решает его дальнейшую судьбу, то, по меньшей мере, тождественна декларации о намерениях – автор выбирает дорогу и пускается в путь, волевым жестом причисляя себя к литературной стае и провозглашая о том окружающему миру. Тут явно требуется для обозначения процесса какое-нибудь не в меру умное слово... инициация. Ну, что-то вроде... Вслед за данной строкой – ремарка – автор укоряет меня за невозможные красоты слога.

Оно и неудивительно. Авторская позиция Дмитрия Коломенского – ирония отстраненного наблюдателя, чьи подлинные, пылкие черты надежно скрыты под гримом высокой техники версификации. Он, по большей части, выносит лирического героя за плоскость настоящего момента, за стекло кишачего людьми и предметами террариума каждодневной жизни, иногда даже сознательно сужая поле зрения – словно для усиления остроты к деталям; и вот уже внешний мир, заключенный в оконной раме – «...лишь то, что вижу я/ в свой прицел». Либо же – вторая крайность отстраненности:

*Близорукое зренье выхватывает из жизни
Небо и землю – крупнейшие из ячеек...
(«Пролетая над тем, что от них осталось...»)*

Создается такое впечатление, словно герой боится опознания внешнего мира в лицо, в масштабе один к одному, в реальном времени. А до тех пор, пока этот внешний мир неопознан, так искусственно чужд, только наблюдаем и воображаем отчасти – его как бы нет, он не существует, со всей его человеческой болью, кровью, мучением, одиночеством.

И лирический герой его – одиночка. Эта вырванность из толпы позиционируется когда подчеркнута насмешливо:

*И вещи кажутся отлитыми
Из цельных блоков бытия,
Автомобили мчатся плитами,
А сверху, словно мегалиты, мы:
Сосед и чуть поодаль – я.
(«Взлетает солнце выше провода...»)*

Когда и откровенно трагически:

*...А теперь кто удержит, поманит назад,
Не позволит с монетой в зубах, одному, наугад,
Наконец перейти это ровное, белое поле?
(«Ожидание снега. Знаменья близкой зимы...»)*

Мало того, этот лирический еще и сдержан, как образцовый разведчик в проявлении неуставных эмоций. Всякую мелочь, всякое трепетание сердца приходится выуживать чуть ли не по слогам, выискивать кропотливо, археологически, извлекать из-под мастерски плотной словесной кладки. От Дмитрия Коломенского пароксизмов пафоса не дождешься. Никаких тебе излюбленных литераторами истерик. В самом пиковом случае – а речь идет об истории любви, рассказанной по обыкновению в саркастическом ключе – вам индифферентно подкинут для описания ситуации:

*...И понимаешь, что серьезно влип,
Что кое-что прозяпал и профукал.*

И далее – кульминационный момент текста:

*Ты не звонишь. Я мучаю тетрадь,
От бытия стараясь отодрать
Щепу бессмертья, раз уж в деле смертном
Не повезло: Фрейд снова на коне —
Со всех копытных ног спешит ко мне
И пользуется метафорой и метром.*

*Но все без пользы. Зигмунд ускакал.
Околеваешь в лампочке накал.
Тетрадь летит в ведро. А в тишине то
Лепечет, то щебечет, то поет...
Но в этом хоре мне недостает
Того, чего в нем не было и нету.
(«Из тишины не выжмешь ни словца...»)*

И это как бы нехотя кроващее сквозь иронию болезненное, стыдливое признание трогает неожиданно сильней и чище, чем все истово разорванные на окрестных поэтических торсах рубахи.

И так (если бы – о любви) – обо всем. В текстах преобладает хамелеонная маскировка эмоций под бессердечие, отчужденность; не эмоций вообще, а – личных чувств, переживаний, тем; этакая соленая и скупая, как мужская слеза, интонация. Проще отшутиться, чем открыть собственное лицо, обнаружить ранимость.

*...Вряд ли. Просто недостаток сантиментов,
пресловутый местный климат, холод рук
или вот еще – отсутствие ферментов...
Не пытался разобраться. Недосуг.
(«Да. Потом мы перебрались в город...»)*

И точка. И, неизящно выражаясь – отвалите. Ничего не поделаешь: есть поэты – соловьи собственных достоинств, недостатков, попок, драк, постельных сцен; Дмитрий Коломенский не принадлежит к этому клану счастливых трепачей. Он мало говорит о себе, при том, что творчество его перенасыщено блестящими бытовыми, жизненными зарисовками, городскими пейзажными картинками – никаких чрезмерно высоких материй, никакой оторванности от почвы, боже упаси, парения. Самый что ни на есть брутальный реализм:

*На вырост выбранная жизнь
Трещит, а думал – шита крепко.
Так распирает этажи
Быт, разрастающийся репкой.*

*И то, что пахло новизной,
Известкой, штукатуркой, краской,
Уже впитало дух иной:
Картофельный, постельный, тряский.
(«На вырост выбранная жизнь...»)*

Тематика его творчества сложна и многокомпонентна, несмотря на внешнюю узость обозреваемого горизонта, где практически вся география перемещений – город. Санкт-Петербург тут тяжел, давящ и отнюдь не светел поблекшим лоском имперской столицы. Даже воспетые прежними поколениями стихотворцев застывшие гранитные красоты приобретают в устах этого странного горожанина пугающую конкретику и живость, плотскую осязаемость.

*Нас выжали из центра, чтобы там
Вольготней было львам, коням, мостам,
Решеткам и садам – им стало тесно.
И было решено, что час настал,
А что за этим следует – известно.*

*...Ведь мы никто – не бронзовые львы,
Не сфинксы с башней вместо головы,
Не монстры, догрызающие цепи
На Банковском мосту, не рябь Невы,
Не эрмитажные разводы сепиш.*

*Мы прах и тлен, белковые тела...
(«Ульянка»)*

Недурное и, мягко сказать, не праздничное видение парадного фасада Северной Пальмиры. Зато когда вникаешь в эту черную урбанистическую романтику, становится совершенно понятно, почему и вся книга в целом носит заглавие «День города» – название, хранящее на себе все ту же печать (и печаль) отстраненного наблюдения. И нет даже попытки сказать: «я и город» или «город и я» – в зависимости от уровня самомнения; звучание Петербурга извне настолько мощно, что любая волшебная скрипка хоть на мгновение, но подстроится в лад. Кстати, на свои кочевья по городу Дмитрий Коломенский не поскупился выделить целый раздел под сакральной вывеской «Переезд»: сперва из пригорода в город, затем – в центр, а вскоре из центра – на окраину. И опять в описании странствий – та же негромкая ирония, но и та же, прямо скажем, трагическая нота оторванности от тепла:

*...Приспосабливаюсь легко,
Прирастаю к любому дому,
Но не домом. Меняю запахи
И привычки. Пью молоко.
Не умею жить по-другому.*

...

*Мы устроим свой быт, мы будем
Жить как люди. И даже мне
Время выделит личный кокон.
(«Переезд. Опять переезд...»)*

И что – о нем, собственно о нем, кроме переезда, скитаний по городу? Путевые заметки – Крым, Карелия, кое-где – определенное местоимение «ты», иногда – ребенок, попытка мемуаров («Я ведь, правда, был молодым – я помню...»), когда досадливое, когда и нежное поминовение «провинции». Автор, конечно, отражается в своих стихах, как в реке, но так смущенно, бочком, с краю, сквозь рябь – словно всерьез не пожелал подойти, склониться, отслоить зеркального двойника.

*...Себя мучительно за дверь нести,
В канал плевать, и без волнения
Следить, как тают на поверхности
Кругами всплывшие мгновения.
(«Воскресный день колбаской выдавлен...»)*

И – повторюсь – масса великолепных городских, пейзажных зарисовок, вызывающая впечатление случайной одноцветной графики на полях, неких «наблюдательных альбомов» художника. Меткая образность, легкая афористичность стиля, высокий уровень поэтического мастерства (товарищи, препарлируем Коломенского на цитаты!). Он не стыдится размениваться на немасштабный замысел, щедро отковывает блестящие строки – и для сиюминутного удовольствия, и для (в высшем смысле) школярства, постоянно тренируя версификационную хватку. Что-то вроде изящного фехтовального приема:

*Залиты влагой, словно лаком,
Оттенки мартовских белил,
И Пастернак уже отплакал
И в пузырек чернила слил.
(«Набросок»)*

Впрочем, поговорить бы и о серьезном.

Техника – это прелестно, но поэта, по сути, делает некий «подтехничный» пласт сознания, неосязаемая пленка Парок, в которую эта нечистая сила обертывает младенца при рождении – мало уметь говорить, надо еще иметь достаточно за душой (и души), чтобы взять на себя право говорить. Да вообще, душу хорошо бы иметь, собственно... Я достаточно давно знакома со стихами Дмитрия Коломенского; ударяя в литавры и выкликая здравицы, тем не менее, могла бы и провозгласить, что как поэт он начался для меня с вещью, которая завершает его первую книгу – с «Попыткой мемуаров»... могла бы, но это было бы красивой неправдой. Полуправдой, во всяком случае. При всем том, что я практически поэтапно наблюдала эволюцию, наработку стиля, рост мастерства – «Попытка мемуаров» явилась для меня если

и не открытием, то неким рубежным камнем, планкой преодоления, раз взяв которую автору предстоит далее соревноваться уже только с самим собой. Так – забегая вперед – и произошло. Большинство лучших текстов Дмитрия Коломенского в этой книге были написаны после «Попытки мемуаров»: «На вырост выбранная жизнь», «Зацепившись за ритм, за мелодию...», «Из тишины не выжмешь ни словца», «Вышел из гоев, но все-таки стал изгоем...», «Ворованный воздух столетья», «Ульянка» и пронзительнейшее, если не самое отчаянное, кровное – «Боже, помилуй Макса Жакоба».

Вообще, Коломенский не имеет привычки обращаться к Богу по пустякам. В поэтической речи – тем паче. Тем проникновеннее и больней звучит эта написанная им молитва нового века (потому что если обращение к Богу с просьбой не есть молитва, то и все церковные службы следует назвать подходящим словом – риторика), молитва горькая, саркастичная от безнадежности, молитва человека, знающего финал страшной сказки, но не желающего смириться, смеющегося надеяться.

*Боже, помилуй Макса Жакоба —
выкреста, выскочку, иезуита!
Если бы ты захотел, то легко бы
вывел его из тюремного мрака,
подсократив население барака
на одного пожилого пишта...*

Не вдаваясь в подробности, замечу, что одним этим обращением Коломенский признает за поэтом Жакобом статус «божьего человека», самой слабой, самой безответной жертвы из всего «населенья барака», почти юродивого, покинуть которого всесильному хозяину при текущем положении вещей (вот Бог, а вот – Жакоб) и невозможно, и немилосердно, и подло, и стыдно. Молитвой за Макса он дает Богу шанс на еще одно, крайнее, доказательство бытия. Он позволяет себе мечтать, сомневаться, фантазировать, словно бы ударяясь в крайние нелепости упований, как всегда поступает мозг человека, ища спасенья если не себе, так присному своему.

*Переиграем – на хилого Макса
нужно всего половину солдата:
то есть, сапог, полыхающий ваксой,
руку и в ней – рукоятку автомата,
рот, чтоб кричать «хендехох!» – все в порядке!
Вот они шествуют улицей оба:
Макс и сапог-«хендехох!» -рукоятка.
Так конвоируют Макса Жакоба.*

Но безжалостное знание сюжета возвращает его к действительности. Он сходит с высшей ноты, снова утапливая Макса Жакоба в общий котел растерзанной Европы, обратно – в население, осознавая, что конкретная человеческая жизнь для арифметики исторического процесса (будь он неладен) – ничто, пустота, небыль.

*Сорок четвертый бьет, как чугушка.
Что ему Макс – гнилая времянка?*

И к предпоследней строфе мышеловка неправосудия небесного захлопывается. Доказательства бытия Божия не произошло. По маловерию ли публики, по лени солиста – рассуждения вторичны. Важно лишь то, что оборвалась последняя надежда, что пьеса кровожадна и нелепа. Торжествует подлая реальность, человек покинут в одиночестве.

*Макса Жакоба – монаха, паяца,
полухудожника, полупоэта —
Боже, помилуй! Не надо бояться
сплетен, оценок, критической дури...
Небо над Францией чистое – нету,
кроме разводов берлинской лазури,
в нем ничего. Никого нету, кто бы
взял и помиловал Макса Жакоба.*

Никогда еще мирное словосочетание «чистое небо» не несло в себе столько мучительного молчания.

«Попытка мемуаров» (маленькая поэма или длинное стихотворение, как любит классифицировать ее автор) для меня стоит особняком. Этот небольшой, драматургически очень верно сделанный текст, профессионально, точно исполненная бытовая зарисовка, от дел кухонных (в прямом смысле) взлетающая к высотам алигьерическим, библейским – посвящен памяти петербургской поэтессы Нонны Слепаковой. Надо отметить, это не «поминальное» стихотворение в прямом смысле слова, потому хотя бы, что Слепакова там – не героиня, не действующее лицо, а скорей, персонаж с моментального фотоснимка памяти автора – «наравне с другими», быть может, только – в первом ряду. И она – жива в этом тексте, не случайно и финал стихотворения дает ее живой, хотя предварительно идет рассказ об общении-бытесмерти-отпевании. Вероятно, в каком-то смысле она вообще – жива; во всяком случае, последние строки поэмы инициируют чудовищное ощущение ее реального присутствия. И неизбежной будущей казни, конечно, ибо рак – приглашение на казнь.

Однако, обо всем по порядку.

Зачин текста легок до балагурства, излюбленный ударный прием коломенской иронии:

*Мне пора печатать воспоминанья,
Разводить их, как на окне герань. Я
Помню пару дат и штрихи к портретам —
Почему бы всем не узнать об этом?
Я ведь, правда, был молодым – я помню...*

Так, в непринужденной манере, Коломенский далее излагает сюжетную канву – фактически, ничем ее не приукрашивая, тасуя спокойные, серенькие детали, на фоне которых резкое:

*И стучал мой путь колесом трамвая,
И шатались люди, не уставая
Проходить сквозь память иглой по шерсти,
Оставляя черную цепь отверстий...*

производит эффект саднящий, ноющий и, напротив – «противошерстный», как первая метастаза грядущей боли.

А затем опять – возврат к прежней как будто бы безразличной, насмешливой наблюдательности, ровным бытовым нюансам: поэтесса, муж, кошка, портрет на стене, рыбный суп, «сигаретный дым, отварной картофель» – привычный и сознательный отказ Коломенского от пафосности, трепетания поэтическими крылами, дешевых попыток парения. Он отделяет поэтессу общественную от поэтессы домашней и подает последнюю в ракурсе пяти-десяти секунд, мгновенного любительского фотоснимка – с изнанки, настоящей, очень живой, тут же сетуя на небрежность памяти:

*...Кот (а может, кошка – я даже это
Помню плохо). Точка. Конец сюжета.*

Так, собственно, главная героиня (формально) и сходит с подножки трамвая, к концу четвертой строфы покидая текст, где ей, казалось бы – непременно обиталище. И лирический герой остается один, и почти слышна в этот момент пауза на вдох, на новое дыхание.

Тем сильней, при внешней безмятежности предыдущего, следующая строка бьет ниже пояса:

Поэтесса С. умерла от рака.

Предложение короткое, точкой как обрубленное. Эта акцентировка мгновенно меняет происходящему знак, отбрасывая прошедшую в воспоминаниях тень женщины во мрак, в поля залетейские. «Черная цепь отверстий» становится цепью пробоев и, набухнув смертью, пласт времени идет ко дну.

*...Я пошел на похороны, однако
Не дошел до кладбища – почему-то
Испугался и соскочил с маршрута.*

То, что представлялось в интонации героя отстраненной безмятежностью, оказывается сдержанностью – не обнажить бы подлинную ранимость.

Так, оказывается, и не суждено появиться на свет саркастическим мемуарам Дмитрия Коломенского:

Мемуары – вздор. Мемуарить – подло.

Не могу не согласиться. Мне почасту кажется, что лучше ничего, чем даже хорошо, ибо в отношении мертвых следует соблюдать особого рода духовное целомудрие. В отношении живых, впрочем, тоже.

И возникает вопрос: о чем же, собственно, написана «Попытка мемуаров»? О Нонне – едва ли. О том, что «смерть опять проходит мимо» – ни в коем случае, и понятный ужас и отвращение героя к кладбищенским церемониям говорят решительно против этой версии. О том, что упущено, недоговорено, о некоем мистическом долге в адрес покойной и холоде неизбежной встречи – отнюдь нет.

*Я ни в чем особенно перед нею
Не виновен. Мне в десять раз страшнее —
Видеть тех, что рамок не признавали,
В черной рамке и в жестяном овале,
Мне страшней вычеркивать с дрожью глупой*

*Номера чужих телефонов-трупов
И следить, как время течет, потя,
От одной потери к другой потере.*

Ни поэтесса и ни смерть не являются темой, темой является сама память, и вечность, и вечность памяти – этого единственного в своем роде часового механизма, могущего быть пущенным обратным ходом... до определенного предела. Тем паче, что надмирное воздаяние Коломенский не отрицает, но и не признает, как непостижимое смертными, биологическими чувствами.

*...Если мне достать бы в рай подфартило
Пару мест по сходной цене в итоге —
Все равно бы наши пути-дороги
Не сошлись. Не важно, что б с нами случилось —
Министерство связи времен распалось.*

И снова – за этой, метче дротика, фразой – мгновенный и яркий, факельный выплеск памяти, и живая женщина, не пожелавшая перейти в тлен, возвращается в свой дом, усаживаясь под оранжевым абажуром, ужинает, закуривает:

*...В нагретом
Тусклом кухонном воздухе сигарета,
Задыхаясь собственным духом скверным,
Пляшет в пальцах тонких легко и нервно,
Словно кто-то чертит в дыму рукою
«МЕНЕ-ТЕКЕЛ-ПЕРЕС» и все такое.*

Так смерти, выходит, нет – по мановению наблюдателя, на протяжении текста.

22.07. – 4.08.2003

Смуглый мастер подобий: текстосновидения Ербола Жумагулова

*...Я проснулся в шестом часу утра – видимо, от жажды.
Просытаясь в чужом доме, я всегда чувствую себя чуждой душой,
засунутой в чужое тело.*

Харуки Мураками, «Слушай песню ветра»

У литераторов принято узнавать о себе правду посмертно. Причем традиция охватывает и объект приложения истины (литератор), и объект ее озвучания (критик). Я же сказала своим друзьям: не дождетесь. Я столько не проживу. Поэтому им приходится кормиться моей правдивостью постоянно, на всем протяжении протекающего рядом с ними жизненного пути. И они (друзья) не делают ни малейшей попытки его (путь сей скорбный) пресечь, но огнюдь не из человеколюбия, а потому что знают: в таком случае их настигнут воспоминания.

*Бледный мастер подобий,
я, испробовав яд
«филий», «тропий» и «фобий»,
тишиною объят...*

А истина заключается в том, что мастер подобий довольно смугл. Но это – детали. Поэзия Ербола Жумагулова значительно более мистифицирует, чем проясняет, но и мистифицирует не настолько, чтобы полностью скрыть в потоке словесной игры смятенное сознание одинокого человека.

*...лишь пустые ладони
двух подсвечников во
мраке ночи, и кроме
темноты – ничего.*

Предваряя дальнейшие рассуждения, замечу: у меня нет ни малейшего желания изыскивать и предъявлять на общий суд бесспорные улики ознакомленности Ербола Жумагулова с лучшими образцами поэзии двадцатого века в виде скрытого (а то и явного) этих образцов цитирования. Я не претендую на беспристрастность критического исследования, и все, излагаемое Жумагуловым, я стану рассматривать, как излагаемое непосредственно Жумагуловым, без всяких, пользуясь его выражением, «филий» и «фобий», без всяких школ и влияний. Уж коли написал, пусть отвечает сам за себя. При наличии таланта младенческое эпигонство простительно поэту: рано или поздно заемная шкурка слиняет, и защеголяет он, болезненный, в собственной, от пинков и царапин авторитетом учителя не защищенной. Для Ербола Жумагулова наследуемые им культурные поэтические традиции и интонационная окраска текста – не эпигонство, но ученичество, приобщение к истокам, прививка оспы. Жар сойдет, отметины останутся, но в них ли дело? Суть в том, чтобы не пережечь внутренний голос, чья подкупающая искренность сквозит из-под маски, а после и вовсе смоет внешние лохмотья школярства. Это вопрос времени, терпения и труда.

Для подробного рассмотрения, субъективного читательского гиперанализа текста наиболее интересна лирика, воплощенная в более-менее традиционный канон. Вне поля зрения я оставляю разнообразные манифесты, стихотворения в прозе, словесные мозаики, чтобы

«не для скуки», и прочее, свидетельствующее как о неистощимом любопытстве автора к словотворчеству, так и неукротимом желании развлекаться, попутно эпатируя публику. Это понятно и простительно, как тренировочные вокализы созревающей звезды бельканто. Это отличные технические задачки на овладение ремеслом, однако на сегодняшний день меня интригует исключительно лирика, наиболее искренняя часть монолога Жумагулова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.